

## ПРОРОК (Пушкин о Достоевском)

Произведения его имели  
чудную, *магическую* силу.<sup>1</sup>

Н. В. Гоголь

То, что явление Пушкина в русской и мировой культуре было подготовлено и осуществлено Высшими Силами, давно уже ни у кого не вызывает сомнения. Великие наработки духовных мастеров XVIII столетия только под его пером приобрели статус *паролей, магических слов и заклинаний*. Мистериальные акции, совершающиеся в интимной тишине лож и лоджий<sup>2</sup>, лишь в творчестве орденского питомца становятся вербализированными манифестациями, многозначительными каскадами прозрачных подrazумеваний:

«...Я, таинственный певец»;  
«Тайный глас души моей»;  
«На тайные листы записывал я жизнь»;  
«...Тайные стихи обдумывать люблю».

Сокрытость в интерпретации молодого адепта из интригующего романтического намёка превращается в потаённое действо, таинство, абсолютно определённое нечто с чётко очерченными, хотя и не самоочевидными контурами. Именно конкретика орденского гнозиса дала возможность Пушкину стать классически ясным в поэтическом оформлении его великих достижений. Взамен сублимного спиритуализма сентименталистов приходит мускульная кре-

---

<sup>1</sup> Несколько слов о Пушкине (1832-1836 гг.). Курсив мой – ОК.

<sup>2</sup> Вспомните: Воды глубокие / Плавно текут.

*Люди премудрые / Тихо живут.*

пость античного гимнаста, олимпийская состоятельность Пифагора и Платона. Бодрость сделалась непременно атрибутом “*добродости*”, а добрый молодец стал не представим спящим на печи и пускающим во сне сладкие пузыри аутизма. Атлетический пафос юного дарования, выкованный как в альма матер (*лицей* против *лицемерия*), так и цепи посвяtitельных обществ (*ложса* против *лжи*), сказался, в конце концов, в самоидентификации с образом *пловца*, мускульно преодолевающего свирепую мощь стихий (*стихи* против *стихий*). Как почти всё в интеллектуальном и творческом багаже Пушкина, образ этот подсказан ему одним из самых близких старших братьев, Василием Андреевичем Жуковским. В ноябре 1824 года он писал ссыльному поэту:

«Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач, у тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья, и обратить в добро заслуженное; ты более, нежели кто-нибудь можешь и обязан иметь нравственное достоинство. Ты рождён быть великим поэтом: будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, всё твоё возможное счастье и все вознаграждения. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые – шелуха. Ты скажешь, что я проповедую с спокойного берега утопающему. Нет! *я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача, и знаю, что он не утонет, если употребит свою силу, и только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывёт, если захочет сам. Плыви силач!*»

Пушкин мгновенно подхватывает образ своего великого учителя и после сказочного превращения из ссыльного в первого поэта России – монаршей волей и хлопотами Жуковского – возвращает бриллиантом совершенной огранки:

### АРИОН

Нас было много на челне;  
Иные парус напрягали,  
Другие дружно упирали  
В глубь мощны вёсла. В тишине  
На руль склонясь, наш кормщик умный  
В молчанье правил грузный чёлн;

**А я – беспечной веры полн, –**  
Гребцам я пел... Вдруг лоно волн  
Измял с налёту вихорь шумный...  
Погиб и кормщик и гребец! –  
Лишь я, таинственный пловец,  
На берег выброшен грозою,  
Я гимны прежние пою  
**И ризу влажную мою**  
Сушу на солнце под скалою.

Смысловая модификация «Ариона» подсказана возникшим почти одновременно (16 июля и 31 июля 1827 г.) «Акафистом Е. Н. Карамзиной»:

Земли достигнув, наконец,  
**От бурь спасённый провиденьем**  
**Святой владычице пловец**  
Свой дар несёт с благоговеньем.

Поскольку миф об античном поэте Арионе повествует о спасении певца после бури дельфином, то, отправляя стихотворение в печать, Пушкин, отказавшись от излишнего в его случае дельфина (а знаменитым *зайцем* его заменить было невозможно), вынужден был скрыть и свои пловецкие достоинства. Однако в «Акафисте», возникшем по предположениям чуть ли не раньше «Ариона» (цифрами *31 июля* Пушкин анаграмматически зашифровал годовщину казни друзей: *13 июля*) и возможно являющимся своего рода почти демонстративным ключом к правильному чтению «Ариона», поэт всё ставит на свое место<sup>3</sup>. По-хозяйски прощаясь с морем перед отъездом с Юга в Михайловское, он надеялся на его пособничество, задумав заплывом перебраться в Турцию, когда с ужасом узнал, что даже коронованный в первые поэты отечества, он остался невыездным. Но здесь его остановил мистический знак, данный ему вторым Александром Сергеевичем; повествовательльно это обыграно в «Путешествии в Арзрум» как впечатляющая встреча с телом

---

<sup>3</sup> Добавим сюда и *пловца* из «Когда порой воспоминанье...»

«Грибоеда». А ведь Пушкин, памятуя предсказание о белой голове, старался попасть в зону, где нет блондинов!

Значит, юный неопит, прошедший цепь орденских посвящений сначала в протомасонских объединениях «Арзамас» и «Зелёная лампа», затем – в связи с окончанием орденской поэмы (эпической песни) «Руслан и Людмила» – в столичной ложе «Три добродетели», был в высшей степени готов к кишинёвскому мистериалу, произошедшему 4 мая 1821 года. А случилось событие чрезвычайное. Была создана – в основном служившими здесь русскими офицерами – масонских ложа, получившая (по предложению Пушкина) беспрецедентное название в честь поэта – «Овидий». Автор сомнительных, с христианской точки зрения, «Метаморфоз», повествующих о бесконечной цепи модификаций – преобразований “языческих” божеств, признаваемых церковью “бесами”, и тем самым “ведущим подкоп” под уникальное, с её точки зрения, «Преображение Господне», был еле терпим в государственном обиходе. О «Метаморфозах» старались не упоминать или клеймить обязательным определителем “басня” любой фрагмент этой эпической книги.

Пушкин ответил в тон.

Обратившись в 1821 г. (впервые) к евангельскому источнику, притче о сеятеле, он сообщает старшему брату, А. И. Тургеневу, что «написал на днях подражание *басни* умеренного демократа И.(исуса) Х.(риста)». В черновике это высказано несколько по-другому: «...Смотря и на запад Европы и вокруг себя, обратился к Евангелию и произнёс сию притчу в подражание *басни* Иисусовой»<sup>4</sup>. – Эва куда!

Возводя смысл слова к греческому оригиналу, Пушкин восстанавливает реальный паритет между гностическими откровениями разных эпох человеческой истории в аспекте принципиально орденского понимания, что управление Планетарного Логоса землёй началось отнюдь не восемнадцать столетий назад, а существует вечно, и всё великое создано людьми за счёт *Ego* вдохновения, прямых подсказок и указаний. Конечно, Его приход на землю многое значил, но, “приватизированный” клириками, вызвал, в конце

<sup>4</sup> ПСС XIII; 79, 385.

концов, понятную идиосинкразию интеллигенции, а в атмосфере идеологического тоталитаризма и прямой револт и отторжение.

Уже в орденской (рыцарской) поэме «Руслан и Людмила» появляется символ потаённости – образ платоновой *пещеры* (развитой позднее в трудах неоплатоников) и сидящего в её мистической тишине героя-на-покое мага *финна* (он же *фингал*). Здесь собраны кельтские, нордические, ближневосточные, древнеславянские и балтийские мифы для лепки образа, занимающего большую часть первой главы произведения. «Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических»<sup>5</sup>, – констатировал Пушкин с дальним прицелом. Именно стихия мифа, его логика и органика, его выразительная образность позволили ему соединить орденский гнозис с народной мистикой. И сразу лубочный сюжет Еруслана превращается в «книгу золотых слов» с далеко идущей проскопией. Так, карла Черномор с усечённой бородой предсказал “европейскую чуму” Карла Маркса, об *обритии бороды* которого мечтал Герберт Уэллс в своём очерке «Россия во мгле». Столь же провиденциально соединение *Рус-ланда* со свойством быть *милым людям*, что вызывало гнев и ненависть не только упомянутого Карла, но и не менее бородатого Фридриха. Руслан получает полный курс посвящения – с прохождением через смерть и другие стратификационные испытательные процедуры. Рыцарская подготовка осуществляется на совесть.

Нечто подобное испытал сам Пушкин 4 мая 1821 года.

Он шёл к своему орденскому посвящению всю сознательную жизнь. И здесь его восприимчиками стали добрые руки П. Пущина и И. Инзова, М. Орлова и В. Раевского, С. Тучкова и П. Пестеля – воистину *братья*, подлинно *семья*<sup>6</sup>. Именно М. Орлов выступил одним из инициаторов создания общества *Русские рыцари* и передал младшему брату всю силу этой вольнолюбивой патетики. Она постоянно сопровождала Пушкина – до конца дней; в 1835 году он пишет большое стихотворение «Родрик», где вновь появляется пещера и благодатный отшельник – словом, всё снова возвращается на круги своя.

---

<sup>5</sup> ПСС VII, 438.

<sup>6</sup> Вспомним: «Витийством резким знамениты, / Сбирались члены сей семьи / У беспокойного Никиты / У осторожного Ильи».

Вот почему дата 1821 год является переломной в судьбе и самосознании поэта. Сумма цифр 1+8+2+1 даёт прямое указание на 12-й аркан Тарота *Повешенный* – вот почему Пушкин всю жизнь так переживал это странное понятие и страшное слово. Дело в том, что персонаж Двенадцатого аркана повешен вверх ногами – а в этой позе вешали только шутов (что зафиксировано в популярной ироикомической поэме В. И. Майкова «Елисей, или Раздражённый Вах»). Но молодой бард именно так и понимал функцию поэта при дворах царей или вельмож:

«Хрущов (тихо Пушкину): Кто сей? Пушкин: Пиит. Хрущёв: Какое же это званье? Пушкин: Как бы сказать? по-русски – виршеписец иль скоморох». (Борис Годунов, ран.)

Шут имеет привилегию говорить королю правду в глаза, но правда эта подаётся в “карнавальную облатку” и окружена иммунитетом юродской неприкосновенности. Недаром Пушкин идентифицировал себя с Николкой Железным Колпаком из «Бориса Годунова». Однако придумывание и игра – *одно* (в этом смысле Николка и Григорий Отрепьев – две стороны одной медали), а *другое дело* реальность: «Да вот беда: сойди с ума, И страшен будешь как чума, Как раз тебя запрут, Посадят на цепь дурака И сквозь решётку как зверка дразнить тебя придут».

Шут, скоморох, придворный поэт... Когда-то Овидий перипетиями личной судьбы показал всю парадоксальность структуры 21-го аркана. Выброшенный немилостью Августа «за тридевять земель», он продемонстрировал юному неофиту всю контрастность возможностей, лежащих перед ним. Пушкин поэтически воздал своему великому учителю<sup>7</sup>; но в наибольшей степени это выразилось в названии кишинёвской ложи. Три огромных общинных тетради, перешедшие после закрытия орденских структур к Пушкину, имели на обложке вытесненный масонский знак ОУ (остальные буквы соскоблены) в треугольнике. Вся первая половина зрелого творчества поэта вместились в эти доставшиеся ему незаполненными тетради; более того, чувствуя себя полномочным наследником не только бумаги, но и идеи, Пушкин “отдуплился” в «Езер-

<sup>7</sup> Достаточно вспомнить послание «К Овидию» и Овидиевы строфы «Цыган». Короче – «В моих руках Овидиева лира...» (II, 1096).

## ЧАСТЬ I. ЭНИГМА АСП И Д.'А

---

ском»: «Начнём ав ovo» – ав OV'о, естественно, – буффонное подчихикиванье не должно вводить в заблуждение.

Всё творчество Пушкина начинается *ав OV'о*.

Но выясняется – и не только его.

В этом же, 1821 году, был “изготовлен” наследник Пушкина, настолько космически важной оказалась Пушкинская «овидиана» – основа его пророческого *видения* и “моцартиански” тонкого слышанья (добавьте сюда и идеальное “аринородионное” *обоняние*, поскольку Овидий был *Назоном*). Имя этого наследника – Фёдор Михайлович Достоевский. Все оставшиеся 15 с небольшим лет проходили в абсолютной детонационной переключке, и без адресной направленности пушкинских протуберантных выплесков непонятна великая патетика появившейся с этого момента в его творчестве “профетической мелодики”, идущей по нарастающей к созданию вершинного мистериального текста. И первым по времени написания было «подражание басни Иисусовой»:

Свободы сеятель пустынный,  
Я вышел рано, до звезды;  
Рукою чистой и безвинной  
В порабощённые бразды  
Бросал живительное семя –  
Но потерял я только время,  
Благие мысли и труды.

Сама “басня” выглядит так:

«Изыде сеятель сеять семя своё: и когда сеял он, иное упало при дороге, и было потоптано; и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. И иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный» (Лк. 8, 5-8).

Ключевое слово *звезда* предполагается Пушкиным семантически прозрачным – это, конечно, *Вифлеемская звезда*, оповещающая, что в мир пришёл Царь Небесный, чтобы *уравнять* царей и рабов земных в едином звании *рабов божиих*. Так что Он одновременно и *свобода* и источник *братства* в едином Отце Небесном. Но это ещё и *1826 год*.

После своего знаменитого «Имеющий уши слышать, да слышит!» Христос тщательно растолковывает притчу; Он не бравирует знанием, Он не цедит сквозь зубы прописи, – он служит, он снисходит, он пастырствует.

Пушкин же в нетерпимости молодости раздражителен и резок в камертоне евангельского же «Не мечите бисер перед свиньями». В письме А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 года он сообщает: «...Я на досуге пишу новую поэму, Евгений Онегин, где захлёбываюсь желчью». Черновик второй главы выдаёт нам уже знакомое: «Свободы сеятель пустынный»; однако, иронический контекст заставляет поэта изменить строку: «В своей глуши мудрец пустынный». Политический скептицизм автора в совершенно грибоедовском духе, преданный денационализированному столичному денди, волею судеб оказавшемуся в деревенском сидении, усиливает раздражение героя, оторванного от привычного и комфортного столичного бытия. Рукопись показывает, что счастливо найденная в процессе работы над “поэмой” формула взорвалась своим собственным смыслом, отпочковавшись от основного текста отдельным стихотворением.

Раздражение максималиста оказалось благодатной почвой для ядовитой проповеди оказавшегося рядом («искушение мудреца пустынного») снобистского циника; борение с искусителем Пушкин запечатлел в своём «Демоне». Текст этого стихотворения казался ему настолько канонически важным, что он с гневом писал по поводу огрехов, допущенных Кюхельбекером при его печати: «Не стыдно ли Кюхле напечатать ошибочно моего демона! моего демона! После этого он и Верую напечатает ошибочно». Пророческая нетерпимость, впрочем, вскоре была урезонена ласковым наставником В. А. Жуковским; в очередном письме подопечному он внушал: «Обнимаю тебя за твоего Демона. К чёрту чёрта! Вот пока что твой девиз. Ты создан попасть в боги – вперёд. Крылья у души есть!»

Однако на ветхозаветную *осаннистость* Пушкин ещё не тянет. Пока он корешится с вдохновенным погонщиком верблюдов из Аравии: «Я тружусь во славу Корана», – пишет он брату в начале ноября 1824 года, работая над циклом своих «Подражаний». Он перенимает впрок будущему автору «Братьев Карамазовых» священную болезнь ближневосточного пророка, и не только её. Под



## ЧАСТЬ I. ЭНИГМА АСП И Д.'А

---

сенью Магометовых сур он обустроивает орденский гностический алтарь, часто проникая воспаряющим словом дальше оригинала. Он примеривается к огранке кристалла духа, который вскоре надлежит вставить в детскую грудь наследника:

Не я ль язык твой одарил  
Могучей властью над умами?

– обращается Аллах к своему единственному транслятору. Ничего похожего у Магомета нет. Русский последователь перехватывает игру. Входя в образ, он пишет П. А. Вяземскому: «Между тем принуждён был бежать из Мекки в Медину, *мой Коран* пошёл по рукам – и донныне правоверные ожидают его»<sup>8</sup>.

Юный Достоевский стажировался на этом Пушкинском цикле. Во всяком случае, именно отсюда взят образ «дрожащей твари», который стал ориентиром раскольниковского наполеонизма. Впрочем, для оживления, одухотворения самого Фёдора Михайловича понадобился ещё более высокий образец. Как Адам на фреске Микеланджело, отрок Достоевский его дождался.

Однако путь к этому супертексту лежал через реальную судьбу и личный мистический опыт *человека* и *поэта* Пушкина.

Орденское посвящение – это мистериальная драма, основанная на сюжете, связанном с судьбой великого зодчего Хирама Абифа – строителя Иерусалимского Храма, по преданию, убитого своими четырьмя подмастерьями. Посвящаемому завязывали глаза, укладывали в гроб, что символизировало его смерть для прежней профанной жизни; на него наставлялся посвятительный меч или сумма шпаг братьев, служащих энергетическими передатчиками групповой воли и психоструктуры. Посвятительный зал был увешан сложнейшими гностическими изображениями, а *череп с костями* – знаменитое философское *memento mori* – отныне сопровождал испытуемого через всю жизнь.

Всё это вошло в жизнь Пушкина 4 мая 1821 года.

Особый статус поэта (оратора, глашатая, кельтского барда) учитывался интеллектуальной элитой Запада и Востока. Во время путешествия в Арзрум Пушкин записывает слова одного из пашей

---

<sup>8</sup> ПСС XIII; 125.

в свой адрес: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются».

Нечто подобное высказывал и Николай I. Возвращая Пушкина из ссылки в честь коронационных торжеств, он, по словам одного из современников, заявил: «Пушкину, учитывая его талант, следует предоставить ту неограниченную свободу слова, какая предоставляется, в порядке исключения, одному из поэтов или одному из шутов, но никому другому».

В аспекте лихорадочных исторических штудий, охвативших русское общество начала XIX века, подобная фигура осмыслялась как колоритный и возвышенный образ *юродивого*, пифийский от-тенок в речах которого подразумевался за счёт особой – “животной” – чуткости его неординарной психики. Откликаясь на получение материалов для создаваемого им образа юродивого в «Борисе Годунове», Пушкин пишет Вяземскому: «Благодарю от души Карамзина за Железный Колпак, что мне присылает; в замену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать. В самом деле, не пойти ли мне в юродивые, авось буду блаженнее!» *Цветной* – это, конечно, трёхлучевой колпак джокера – Люцифера 21-го аркана, который суммирует всю смысловую развёртку ряда: *Дурак – Шут – Сумасшедший – Юродивый – Блаженный – Идиот*. Пушкин подверстал сюда своей волей и фригийский колпак Французской революции. Во всяком случае, отвечая на дружеское приветствие переводчика Пифагора В. С. Филимонова в связи с получением его поэмы «Дурацкий колпак», он писал:

Вам музы, милые старушки,  
Колпак связали в добрый час,  
И, прицепив к нему гремушки,  
Сам Феб надел его на вас.  
Хотелось в том же мне уборе  
Пред вами нынче щегольнуть  
И в откровенном разговоре,  
Как вы, на многое взглянуть;  
Но старый мой колпак изношен,  
Хоть и любил его поэт;

Он поневоле мной заброшен:  
Не в моде ныне красный цвет.  
Итак, в знак мирного привета,  
Снимая шляпу, бью челом,  
Узнав философа-поэта  
Под осторожным колпаком.

Всё это было в 1828 году. А в ноябре 1825 года, едва закончив трагедию, он писал Вяземскому: «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию – навряд, мой милый. Хотя она и в хорошем духе написана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!»

Дело в том, что в Николкиных пассажах насчёт «царя Ирода» легко угадывался намёк на причастность Александра I к заговору и убийству его царственного отца. Конечно, «В дураке и царь не волен», кроме того, и *поэзия должна быть глуповата* – да *поэт должен быть не дурак*, а значит, с него взыщется. Этого-то и опасался михайловский затворник, утирая рабочий пот с залихватским: «Ай да Пушкин! ай да сукин сын!» Пушкинский *дурак* получался сугубо карнавальным; реально каждая из трёх составляющих в это время в России имела своего феномена: *блаженный* – Серафим Саровский; *предсказатель* – монах Авель; *поэт* – правнук арапа Петра Великого.

И всё же мистика карнавала оказалась не условной. Игровое юродство проникло в самые поры судьбы и “прокукарекало” отсюда довольно неожиданным образом. Ощущая в конце года надвигающуюся грозную лавину событий, подёргавшись с зайцем, но не переставая сосредоточенно думать о *братском круге* и о своём в нём участии (после посещения Михайловского Иваном Пушиным причастность Пушкина к заговору не вызывает сомнений, хотя мера его осведомлённости в деталях до конца не известна), поэт создаёт одним махом свой стихотворный анекдот «Граф Нулин» – аккурат 13 и 14 декабря 1825 года. Это – ещё больший анекдот ситуации.

Но даже не *наложение* “вот по этих пор” на каре на Сенатской поражает более всего. Самым загадочным во всей этой истории является *фамилия* персонажа. Н у л и н ...Ба! Да это круглый дурак 21-го аркана! (он же *Нулевой*). Мало этого, – Пушкин предсказыва-

ет результат выступления: *нуль!* И всё это *в исступлении* отрезанности от братьев. Вот после того и шути: шит колпак да не по-колпаковски... Впрочем, не забудем про *Лидина*: он смеётся *последним*.

Так что шутовское «де юре» юродства оказалось чревато *быть в руку*. Недаром на Руси юродивые считались пророками. Да и сумма цифр этого грозного года указывала на 16-й аркан: *Молнию с неба*.

Половина следующего года ушла на разбирательство. К середине июля приговор был вынесен, и 13-VII-1826 состоялась казнь. Николай I сделал всё, чтобы «спустить дело на тормозах». Утверждали, что его «долго не могли уговорить о виселице» и с «искренним горем государь подписывал... приговор, говоря: “Каких я и Россия теряем людей превосходных, увлѣкшихся духом времени”». В царской семье господствовало мнение, что «при всяком восшествии на престол милость гораздо благоразумнее строгости»; сам монарх уверял, «что в своей конфирмации он удивит всех своим милосердием». Однако задумано всё было слишком тонко, в расчёте на мистицизм, который оказался хлипковат рядом с рационалистским умонастроением общества.

Вечером 12 июля виселица была разобрана «по частям» и «в разное время от 11 до 12 часов ночи» была отправлена на шести подводах из городской тюрьмы через Троицкий мост в кронверк. Но к месту назначения прибыли «только пять возов; шестой, главный, где находилась перекладина... *пропал*». Поэтому срочно пришлось «делать другой брус». Нет, не ударили лбом в землю, воздавая хвалу «за знамение»... – заменили деталь, и всё.

Пришлось повторить фокус. «Забил барабан, и скамью выдержали из-под ног преступников; в то же мгновение три верёвки оборвались... Люди, присутствовавшие при этой мрачной сцене, заволновались, их сердца забились от радости и благодарности при мысли, что император применил это способ для того, чтобы согласовать чувство гуманности с политическим долгом».

Но аракчеевщина восторжествовала.

«Бенкендорф, видя, что принимаются снова вешать этих несчастных, которых случай, казалось, должен был освободить, воскликнул: “Во всякой другой стране...” – и оборвал на полуслове».

Народ? – А что: *народ*? «Народ говорил, что, видно, Бог не хочет их казни, что должно остановить их, но барабан заглушил вопль человечества, и новая казнь совершилась»<sup>9</sup>.

Сперанский был не у дел... Но был ещё один человек... Современник вспоминает: «Никто не верил тогда, что смертная казнь будет приведена в исполнение, и, *будь жив Карамзин*, её бы и не было, – и в этом убеждены все современники».

Из-за долгого отсутствия в России смертной казни для проведения экзекуции не нашлось местного палача; из Финляндии срочно выслали фина, – нет: *Финна*, ибо, судя по всему, верёвки – по тайному распоряжению императора подрезал именно он, – молчаливый, суровый, никому не известный. Правда, возможно экзекутанты вели себя слишком дерзко, нарушая расписанный сценарий; поднявшись на ноги, весь окровавленный Рылеев сказал генералу, присутствующему при казни: «Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите – мы умираем в мучениях»; «Сергей Муравьев жестоко разбился; он переломил ногу и мог только выговорить: “Бедная Россия! и повесить порядочно у нас не умеют!”; “Каховский выругался по-русски”».

Все сочувствовали осуждённому, и казнь специально затягивали в ожидании монаршей милости. Между Петербургом и Царским Селом, где отсиживался самодержец, непрерывно сновали посыльные с донесениями. Но диспетчер, который мог направить всё в нужное руло, уже лежал в могиле. Не одного его свела на тот свет расправа над декабристами; потрясённый смертным приговором брату Николаю<sup>10</sup> сошёл с ума и вскоре скончался его младший брат Сергей Тургенев.

*Хотели как лучше, а получилось как всегда.* Холуйство, сонная одурь, неразбериха привели к столь печальному и унылому исходу. Зато через полтора десятилетия механизм сработал более слаженно – это и сохранило нам гениального пушкинского наследника.

Пушкин узнал о казни 24 июля, одновременно получив известие о смерти в Италии Амалии Ризнич. Оба эти события навсегда

---

<sup>9</sup> Воспоминания П. А. Вяземского.

<sup>10</sup> В связи с неявкой на суд из-за границы Н. И. Тургенев был осуждён на вечное изгнание (объявлен вне закона).

соединяются в его сознании друг с другом, становясь взаимными опознавательным знаком. Звёздный год ( $1 + 8 + 2 + 6 = 17$  – 17-й аркан *Звезда*) приходит подведением итогов, раздачей званий и титулов, понятием *звёздный час*. Пушкин, привыкший “играть мускулами” наперекор пословице «нет пророка в своём отечестве» [«Что касается соседей, то мне лишь по началу пришлось потрудиться, чтобы отвести их от себя; больше они мне не докучают – я слышу среди них *Он е г и н ы м*, – и вот я, – пророк в своём отечестве» (конец октября 1824 г.); «Душа! я пророк, ей богу пророк! Я Андрея Ш.<еньё> велю напечатать церковными буквами во имя От<ца> и Сы<на> etc.» (4–6 декабря 1825 г.); «Гнедич не умрёт прежде совершения Илиады – или реку в сердце своём: несть Феб<sup>11</sup>. Ты знаешь, что я пророк» (3 марта 1826 г.)]<sup>12</sup> вдруг оказался лицом к лицу с событиями, где потребовалось *отвечать за слова*. Он пишет своего «Пророка», куда вошла вся сумма знания и понимания этой структуры. Здесь и коранические аллюзии, и библейский колорит, и нордическая внеэтничность, – но, прежде всего – воспроизведение в мифологическом ключе орденского посвящения, вернее, моделирование его первооригинала.

Однако вначале – по свидетельству С. А. Соболевского – появились «...стихотворения о повешенных» – не то цикл из четырёх стихотворений, не то текст из четырёх стихов. В устной передаче сохранился (с небольшими разночтениями) и последний куплет. Тщательный просмотр рукописей, герменевтическое прочтение не только записей, но и рисунков, реконструкция событийности вокруг 8 сентября 1826 года, когда за Пушкиным прискакал из Москвы фельдъегерь для препровождения опального поэта пред «государевы очи», позволило выстроить следующую картину.

Пушкин создаёт под впечатлением событий стихотворение «Пророк России», которое некоторое время существует изустно, хотя поэт автоматически изображает в виде графемы основной концепт каждого четверостишья. В книге «Айвенго» сохранились рисунки *весов* и *виселицы* под ними; затем в разных местах появляется строка «И я бы мог как [шут вис(еть)]» и, наконец, упомяну-

<sup>11</sup> Отсыл к библейскому: *рек безумец в сердце своём: Несть Бог*.

<sup>12</sup> Письма В. Ф. Вяземскому и П. А. Плетнёву (XIII, 114 (532); 249; 264).

тый последний куплет, рисующий образ пророка в духе традиционного юродивого: «Таково повелел Бог и Исайи ходить нагу и необувенну, и Иеремии обложить чресленник о чреслах, и иногда возложить на выю клади и узы, и сим образом проповедовать...». В России подобный типаж был чрезвычайно популярен; английские путешественники свидетельствуют: «Их (юродивых) считают пророками и весьма святыми мужами, почему и дозволяют им говорить свободно всё, что хотят».

Существование пушкинской лирики только в виде письменных текстов является идеей фикс пушкинистов, искажающей реальную картину его поэтического хозяйства. Большинство своих произведений он помнил на память и мог воспроизвести в любой момент, что продемонстрировал однажды, записав для царя целую тетрадь стихов. Так существовала повесть, фиксированная посредником под названием «Уединённый домик на Васильевском». Поэтому для того, чтобы стихотворение было завершено, не обязательно было наличие письменного эквивалента. Особенно это касалось «цензурно сомнительных» опусов, летучее существование которых было вызвано особой необходимостью.

Трясаясь в карете по вызову в Москву и не зная, что его ожидает, Пушкин, естественно, готовился к худшему. «Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков», – пишет он Вяземскому 10 июля 1826 года. Это же констатирует и Жуковский: «Ты ни в чём не замешан – это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои». (Это в самый разгар работы Следственной комиссии!)

Подобравшись и обдумав своё поведение в этот ответственный момент, Пушкин записывает на клочке бумаги текст криминального стихотворения, намереваясь – в перспективе предстоящих репрессий – подать его царю в качестве меморандума от лица *всех*.

Однако судьба повернулась по-другому; а он потерял листок, уже поднимаясь в царственные апартаменты. *Никогда он не был так близко от провала*. Подняли на ноги слуг, злополучный листок был найден и вручён незадачливому хозяину. Царь был благодушен – и, короче, они понравились друг другу.

Что же было в таинственном листке?

А вот что:

Пророк России

Свершилось. Словом “правосудья”  
 Душа низринута с вершин,  
**Весами** разделён по сути  
 Порог и Бог, отец и сын.

Как можно петь и веселиться  
 Средь балов, шуток и затей,  
 Когда на **виселице** лица  
 Навек застывшие друзей?

Строка: **И я бы мог как шут** вниз головой  
 Висеть на перекладине в столице...  
 Что ж делать мне: стоять или стелиться? –  
**И раздался глас Божий надо мной:**

Куплет: **Восстань, восстань, пророк России,**  
**В позорны ризы облекись,**  
**Иди и с вервием на вые**  
 (У.Г.) **К убийце гордому явись.**



Точность этой реконструкции записи мыслей Пушкина верифицируется ещё общением его в это время с романом Вальтера Скотта «Ивангое» («Айвенго»), на первой странице которого и было сделано изображение *весов* и *виселицы*. Шут Вамба в разговоре с королём выслушивает устный трактат о логике поведения его непокорных подданных и намёки на снисходительную к ним милость с его стороны. Причём пушкинское «вервие на вые» – это и знак рабской покорности и взывание к милосердию, – но это и намёк на оторван-



## ЧАСТЬ I. ЭНИГМА АСП И Д.'А

---

---

ные петли, которые, однако, не стали знаком к прекращению казни. *Виселица* для Николая I стала таким же кошмаром, что и удавка для его брата Александра.

И Пушкин использовал любую возможность, чтобы напомнить и намекнуть. Но иногда он забегал чуть вперёд. Соревнуясь с «Елисеем, или Раздражённым Вакхом» В. И. Майкова, у которого Зевс грозит подчинённым ему олимпийцам:

А если кто из них хоть мало укусит,  
Тот будет обращён воронкою в зенит,  
А попросту сказать, повешу вверх ногами  
И будет он висеть, как шут, между богами;  
Не сорвется вовек кто б ни был как удал...

он создаёт своё архишутливое и супергомерическое:

Брови царь нахмуря, Говорит: «Вчера Повалила буря Памятник Петра». Тот перепугался. «Я не знал!.. Ужель?» – Царь расхохотался «Первый, брат, апрель!»	Говорил он с горем Фрейлинам двора: «Вешают за морем И за два яйца. То есть разумею, – Вдруг промолвил он, – Вешают за шею, Но жесток закон».
--	--

Это написано в октябре-ноябре 1825 года – накануне. «Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. Гр. Нулин писан 13 и 14 дек. – *Бывают странные сближения*».

Да уж... И вдогон:

И дабы впредь не смел чудесить,  
Поймавши истинно повесить  
И живота весьма лишить.

Накаркал, Лексан' Сергеич!  
Дохохотался.

Правда, листок с “динамитом” был потом автором тщательно уничтожен. – Ну и что же? Пушкин методично и настойчиво начинает *призывать милость к падшим*, пользуясь своим положением

“избранного”. А своим бесстрашным «Посланием в Сибирь» – в пандан своему искреннему ответу царю насчёт участия в событиях – дал понять, что он воспринимает свою свободу как аванс, который следовало отработать перед всем братством. И – видит Бог – в этом он был неистов и неутомим.

Итак, звёздный год воистину оказался *звёздным*. «Звезда пленительного счастья» одних привела к вершинам героического стояния, других (Пушкин, Грибоедов, «Общество Семиугольной звезды») заставила подобраться и осмыслить свою миссию в качестве “поплавок”, через восприятие которых картина мира транслируется вниз, в каторжные норы. Но судьбы *свободы* целиком на их попечении.

И если ещё недавно Пушкин в юношеском высокомерии брюзжал:

Паситесь, мирные народы!  
 Вас не разбудит чести клич.  
**К чему стадам дары свободы?**  
 Их должно резать или стричь.  
 Наследство их из рода в роды  
 Ярмо с гремушками да бич. –

то теперь он снаряжает своего Пророка месить человеческое тесто, не покладая рук, забыв о личных вкусовых пристрастиях:

И, обходя моря и земли,  
 Глаголом жги сердца людей!

Уже в «Пророке России» вместо привычных бакенбардов в зеркале автопортретности появляется совсем другое лицо. Реальный Пушкин (штилеты, цилиндр, фрак) с *вервием на вые* абсолютно непредставим. «Литература чести», стоя на цыпочках высшего вдохновения, описывает героя совсем другой литературы – «литературы совести». *Невольник чести* не мог позволить заушать себя аки Христа, несмотря на весь свой пиетет перед великим Галилейским Пророком. «Исполнишь волею Моей» – было для него слишком, – он хотел оставить в укромном углу горсть разноцветных камешков поэтических вольностей, иронических хохм и сарка-

## ЧАСТЬ I. ЭНИГМА АСПИДА

---

---

стических колкостей... «Веленью божию, о муза, будь послушна» – это было в самый раз, и то приходилось уговаривать.

Нет, путь в пустыню был уготован совсем для другого человека. И человек этот подрастал. В 1826 году ему исполнилось пять лет; в 1828, когда стихотворение было опубликовано – семь; где-то в это время и монтируется в человека искра божия – кристалл духа. Этим кристаллом и стал гениальный Пушкинский «Пророк».

То, что стихотворение – *магический кристалл*, не вызывает сомнений. Но после «Подражаний Корану» и «Свободы сеятель...» это уже «Кристалл, поэтом обновленный», причём, обновлённый капитально. *Во-первых*, исчезла вариационная отстранённость, которая даже при совершенстве стиха не спасает произведение от буффорного оттенка наглядной агитации, – и даже *наглой*, если после «На лире скромной, благородной / Земных богов я не хвалил / И силе в гордости свободной / Кадилом лести не кадил. / Свободу лишь умея славить, / Стихами жертвуя лишь ей, / Я не рождён царей забавить / Стыдливой музою моей» заглянуть в стихотворения «Александрю» (1815) или «Принцу Оранскому» (1816), после которых это было написано. *Во-вторых*, прочувствованность животом – почему стихотворение следует считать, *прежде всего*, фиксацией впечатлений, полученных во время масонского посвящения, – т о л ь к о о н а соответствует структуре *того*, в кого этот кристалл был вмонтирован. Достоевский – *писатель*, а не описатель типа Тургенева-Кармазинова, и глагол в его устах и под его пером должен *жесть*, а не ласкать ухо («...я благоговел, и благоговя...»).

Но кристалл не был бы кристаллом, если бы не обладал чёткой структурой – кристаллической решёткой – и вот здесь мы попадаем в средоточие тайн пушкинского гнозиса. Кристалл – архетипически – это, конечно, Великая пирамида Древнего Египта; треугольная схема её разреза есть треугольник Больших арканов Тарота; “решётка” – прямое указание на 20-й аркан *Воскресение из мёртвых*, которому соответствует 20-я буква иврита *реш* с иероглифическим значением (отрезанная) *человеческая голова* (гностически фиксировано “усекновенной” головой Иоанна Крестителя). Но, как ни покажется невероятным, всё это богатство смыслов содержится в конструкции произведения!

Казалось, исследователей давно должна была бы привлечь находящаяся явно за пределами всякого (тем более пушкинского) чувства меры перенасыщенность текста соединительным союзом *и*, и никакая псевдобиблейская стилистика и “говорение взхлёб” не оправдывают такую нето слабость, нето небрежность. Из текста ясно, что Пушкин “правильно соединил провода” и система мгновенно заработала как проводник, низводящий информацию из горних сфер в дальнее. Значит, лестница эта имеет *ступени* для нисхождения по ним Божества и восхождения человека в вышнее. Эти ступени и есть таротные арканы.

Итак, рассмотрим целое, заменив для вящего отличия русского многоаспектного *и* его – в качестве *союза* – эквивалентом английским значком & (and), сосчитав и пронумеровав все эти & и соотнеся их с определёнными арканами Тарота (см. схему в конце книги). Картина будет следующей:

### Пророк (&)

- 1 Духовной жаждою томим,
- 2 В пустыне мрачной я влачился,
- 3 & [1] шестикрылый серафим
- 4 **На перепутье мне явился;**
- 5 Перстами лёгкими как сон
- 6 Моих зениц коснулся он:
- 7 Отверзлись вещие зеницы,
- 8 Как у испуганной орлицы.
- 9 Моих ушей коснулся он,
- 10 & [2] их наполнил шум & [3] звон:
- 11 & [4] внял я неба содроганье,
- 12 & [5] горний ангелов полёт,
- 13 & [6] гад морских подводный ход,
- 14 & [7] дольней лозы прозябанье.
- 15 & [8] он к устам моим приник,
- 16 & [9] вырвал грешный мой язык,
- 17 & [10] празднословный & [11] лукавый,
- 18 & [12] жало мудрыя змеи
- 19 В уста замершие мои
- 20 Вложил десницею кровавой.

- 21 & [13] он мне грудь рассек мечом,  
22 & [14] сердце трепетное вынул,  
23 & [15] уголь, пылающий огнём,  
24 Во грудь отверстую водвинул.  
25 Как труп в пустыне я лежал,  
26 & [16] Бога глас ко мне воззвал:  
27 «Восстань, пророк, & [17] виждь, & [18] внемли,  
28 Исполнишь волею моей,  
29 & [19], обходя моря & [20] земли,  
30 Глаголом жги сердца людей».

Первый аркан Тарота *Маг* положен трансцендентно по отношению к остальным; он обладает двойной потенцией, ибо он начинает, но он и заканчивает мистерию Больших арканов. Пирамидион всегда трансцендентен телу пирамиды, а его отсутствие у Великой пирамиды ещё усиливает этот подсмysl. Первому аркану в стихотворении соответствует *шестикрылый серафим*, точно передающий его символику и его семантику. Шесть крыл серафима (крылатого змея еврейской мифологии) – это шесть направлений, они же шесть граней куба – кубического каменного алтаря, на котором перед *Магом* лежат четыре сакральных предмета – символы четырёх мастей малых арканов (они же – четыре стороны света), к которым приплюсовываются направление вверх (зенит) и вниз (надир), на которые указывают руки *Мага*. Это намёк на «что сверху, то и внизу» Изумрудной скрижали Гермеса Трисмегиста. Именно непринадлежность плоскости передвижения отшельника («Я») сконцентрирована в слове *явился*, она сразу вводит в атмосферу магичности происходящего.

До следующего аркана Пушкиным организована пауза в 6 (!) строк, зато потом подряд следуют сразу два аркана: 2-й и 3-й *Жрица* и *Императрица* – Любовь Небесная и Любовь земная, комплементарно дополняющих мужественность Первого. Четвёртый аркан *Император* (Юпитер) – «неба содроганье»; 5-й *Жрец* – «горный ангелов полёт»; 6-й *Возлюбленный* – «гад морских подводный ход» – выбор Адама в пользу Евы (земной), а не Лилит (небесной); и сразу указание на первобульон жизни – мировой океан. Еще выразительней прописан 7-й аркан *Колесница* (запряжённая двумя

крупными кошками-сфинксами) – именно на колеснице<sup>13</sup> в окружении пантер шествовал на Дионисиях сам Бог виноградной лозы. Восьмой аркан *Правосудие*; только оно имеет полномочия «прикинуть к устам» и – 9-й аркан – «вырвать язык», произнеся вердикт «грешный»; после этого молчальник-*Отшельник* вполне закончен “производством”, хотя вдогон следуют определения вырванного: 10-й аркан *Колесо Фортуны* – «празднословный» (читай суеславный) и 11-й аркан *Сила* – «лукавый», т. е. берущий на испуг, “на понт”, но ретирующий и пасующий перед подлинной силой. А далее идёт “гвоздь программы” – величайшая тайна Пушкина – ибо всю жизнь, а особенно после 13 июля 1826 года его преследовал образ *Повешенного* (12-й аркан) и виселицы (“покой”, крест-тау<sup>14</sup>, глаголь – “пол-тау”<sup>15</sup>): «Когда помилует нас Бог, Когда не буду я повешен...» Шестикрылый серафим (сераф – серап происходит от серпент – змея) вкладывает в уста создаемому *свой признаковый атрибут*; пережив это в момент орденского посвящения (символически) Пушкин сам стал *А.С.П. и д(рузья)-ом*. Змей-дракон это созвездие, через которое проходит мировая ось – что соответствует и структуре арканного треугольника, в котором центральный аркан *Дурак* имеет две развёртки: вверх (*Маг*) и вниз (*Повешенный*). “Дураков” же (шутов), как было сказано, вешали вверх ногами. Обыгрывая этот гностический момент масон Вальтер Скотт вложил в уста шута Вамбы («Айвенго») следующую реплику: «...Говорят, что у меня мозг не на месте, может быть, если вы меня повесите головою вниз, мозг мой придёт в порядок» (перевод в издании 1826 года, которым пользовался Пушкин).

Следует новая пауза в две строки (окончание предложения) и сразу вслед: аркан 13-й *Смерть* «он мне грудь рассек мечом»; аркан 14-й *Время* «сердце трепетное вынул» – вот оно (!), трепет сердца связан с параметром времени, со свойством смертности “твари дрожащей” – у бессмертных никакого “трепета сердца” в принципе быть не может; 15-й аркан *Сатанаил* «уголь пылающий

<sup>13</sup> Описано в «Торжестве Ваха» (1818).

<sup>14</sup> Напр., «Ек. И. Ушаковой», где на восемь строк с финальным «повешен» приходится 9 (!) Г.

<sup>15</sup> Помимо огромного полотна «Полтавы» (пол-тав) это ещё и «Альфонс садится на коня» с его *глаголем*.

огнём» – лучше передать огненную структуру аркана невозможно: Сатанаил – Великий Экзаменатор, Глава Ведомства Справедливости. Но это ещё и *угловой* аркан; а угловые арканы отмечают точки поворота и перехода из одной посвятительной процедуры в другую; поэтому угловые арканы обладают двойным качеством и двойным смысловым потенциалом. Пушкин фиксирует слово «угол» в 8-м аркане буквой *у* в 15-й строке («устаи») и буквой *л* и *з* в 16-й («вырвал грешный»); в 15-м аркане (23-я строка) дело решает слово «уголь», подкреплённое *з, у, л* 24-й строки: «Во грудь отверстую водвинул».

Снова две строки паузы – и космический финал: 16-й аркан *Молния с неба* «Бога глас ко мне воззвал»; 17-й аркан *Звезда* и 18-й *Луна* «виждь и внемли», очи небес – звёзды – это «виждь», а влияющая на всё земное своим притяжением Луна – это, естественно, «внемли».

Передышка в одно дыхание, и – 19-й аркан *Солнце* «обходя моря»: *обходить* моря может только солнце, – «и земли» – 20-й аркан *Воскресение из мертвых* – это – в отличие от савлианской канонической галиматъи – земля, приносящая плоды сторицей (как в «притче о сеятеле») от того самого мужественного зерна, которое не боялось умереть внутри почвы («притча о зерне» Христа).

Такие потрясающие результаты даёт **И**, представленное в качестве соединительного союза &.

Воистину, «Друзья, прекрасен наш с о ю з !»

Но в стихотворении есть ещё два конечных ударных И, которые, дясь, становятся соединительной смазкой для 19-й строки – «змей» 18-й; и для 20-й – «мой» 19-й. Тогда с переобозначением всех соединительных & как «! И» с добавлением двух ударных вышеупомянутых получаем 22-х арканную таротную полноту.

Любопытно, что и такую возможность Пушкин предусмотрел в тексте: 15-й аркан, перекочевав в 21-ю строку, получает свой “угол”: «он мне грудь рассек мечом» и (22-я строка) «сердце трепетное вынул»; 17-й аркан *Звезда* оборачивается строкой «уголь, пылающий огнём»; «обходя моря» начинает соответствовать главному ходуку Тарота *Дураку* (21-й аркан), а «земли» в аспекте 22-го аркана *Мир* приобретает космический масштаб.

Но это если *и* становится ! И.

Или, как сказано у Пушкина, «Но есл **И**...»

Пророк **! И**

- 1 Духовной жаждою томим,  
 2 В пустыне мрачной я влачился,  
 3 **! И** [1] шестикрылый серафим  
 4 *На перепутье мне явился;*  
 5 Перстами лёгкими как сон  
 6 Моих зениц коснулся он:  
 7 Отверзлись вещие зеницы,  
 8 Как у испуганной орлицы.  
 9 Моих ушей коснулся он,  
 10 **! И** [2] их наполнил шум **! И** [3] звон:  
 11 **! И** [4] внял я неба содроганье,  
 12 **! И** [5] горний ангелов полёт,  
 13 **! И** [6] гад морских подводный ход,  
 14 **! И** [7] дольней лозы прозябанье.  
 15 **! И** [8] он к устам моим приник,  
 16 **! И** [9] вырвал грешный мой язык,  
 17 **! И** [10] празднословный **! И** [11] лукавый,  
 18 **! И** [12] жало мудрыя змеи **! И** [13]  
 19 В уста замершие мои **! И** [14]  
 20 Вложил десницею кровавой.  
 21 **! И** [15] он мне грудь рассек мечом,  
 22 **! И** [16] сердце трепетное вынул,  
 23 **! И** [17] уголь, пылающий огнём,  
 24 Во грудь отверстую водвинул.  
 25 Как труп в пустыне я лежал,  
 26 **! И** [18] Бога глас ко мне воззвал:  
 27 «Восстань, пророк, **! И** [19] виждь, **! И** [20] внемли,  
 28 Исполнись волею моей,  
 29 **! И** [21], обходя моря **! И** [22] земли,  
 30 Глаголом жг **! И** [23] сердца людей». (возврат к **! И** [1])

Так что Достоевский получил **! И**деальный кристалл духа и прекрасно сознавал великое формообразующее значение этого текста для своей писательской и человеческой судьбы. Он понял буквально как призыв «Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы!» и



## ЧАСТЬ I. ЭНИГМА АСП И Д.А

---

всего через десять лет после смерти горячо обожаемого учителя вошёл в постмасонский разночинный кружок Петрашевского, был схвачен, повязан и стоял на плацу в подрасстрельной ситуации. Его посвящение не было столь аристократически красиво, но зато покрепче градусом – недаром оно обернулось уж совсем некрасивой падучей. Но – чудеса! – каторжная Достоевская петля почти полностью повторила пугачёвские мыканья Пушкина – и не эти ли две петли мучили Александра – свет Сергеевича в неотступном образе повешенного?

А в стороне торчит глаголь,  
И на глаголе том два тела  
Висят. Закаркав, отлетела  
Ватага чёрная ворон,  
Лишь только к ним подъехал он.  
То были трупы двух гитанов,  
Двух славных братьев-атаманов,  
Давно повешенных и там  
**Оставленных в пример...**

Этот фрагмент стихотворения «Альфонс садится на коня», уже упомянутого ранее в связи с “Пушкинской глаголицей”, сейчас для нас важен иным аспектом: два гитана – бродяги и “робингуда” – это (в аспекте русской языковой алхимии) два *гиганта* и *титана*, – а более точного определения параметров и масштаба личностей Пушкина и Достоевского трудно вообразить.

Уже в ранних поэтических откровениях Пушкин набирает такую высоту, что сам может удержаться на этом уровне лишь на краткий миг вдохновения; идущий вслед за ним обживает это заоблачье уже по-хозяйски. Так «неподкупный голос мой Был эхо русского народа» (1818) никак не соотнобразуется с одами «Александрю (... Утихла брань племен...)» и «Принцу Оранскому» (1815 и 1816), которыми запятнал себя юный вития – что, впрочем, вполне уместно для “солнца”. – А ведь тогда Достоевский был только в проекте! Зато речитация Творца Вселенной: «Не я ль язык твой одарил Могучей властью над умами?» из «Подражаний Корану» это уже складированное впрок “приданное” подрастающему наследнику – по отношению к самому Пушкину они скорее *максима*, чем *нормаль*.

«Пророк мой вам того не скажет, Он вежлив, скромн...» – Уж куда!

Я стал умён, я лицемерю –  
 Пошусь, молюсь и твёрдо верю,  
 Что Бог простит мои грехи,  
 Как государь мои стихи.

(«В. Л. Давыдову», 1821)

Конечно, пушкинская “философия сушёных грибов”<sup>16</sup> не более чем джокерские увёртки, “доказательство от отвратительного”, самоиронический эксгибиционизм и карнавальная перевертень. Но как это далеко от пророческого «иду на вы»! «Небесного земной свидетель» это, конечно, Homo Erectus, т. е. Человек Прямоходящий, а не «ускользающий бесом Пушкин» («Баллада», 1819), – «самостоянье человека залог величия его». Самостоянье – оно же достоинство – это уже осанка и стать молодого пророка. И даже к закату – времени «Пушкинской речи» – сутулость, да, – но *ничего* от ужа или жужелицы. «И виждь и внемли» – время свирепых пятидесятых и шестидесятых; не то игривый тридцатый год: «Когда б судьбы того хотели, Когда б имел я *сто* очей, То все бы *сто* на вас глядели». Хотя фамилия двух гигантов русского слова таинственно зашифрована в этом экспромте: Достоевский: «*Когда б судьбы того хотели*» И «*Когда бы имел я сто очей*»; и Толстой: «*То все бы сто на вас глядели*».

Вот и вопрошай после этого: «Что в имени тебе моём?»

Но сердца оказались «живы для чести» до конца.

Масонские страницы «Войны и мира» относятся к лучшим образцам орденской прозы. Достоевский же разработал и обнародовал в романе «Подросток» идею создания тайной – но по возможности легальной – метаорганизации ультрарыцарского толка с концептуальным названием «Орден чести».

Так что дело совсем не в юбилейной okazji; воистину Пушкин мог сказать из своего надземного далека: «Есть в мире сердце, где

<sup>16</sup> “Я променял парнасски бредни / И лиру, грешный дар судьбы, / На часослов и на обедни, / Да на сушёные грибы” (там же). Не хватало только «часослов» написать в два слова: *час etc.*

живу я». Кстати, Толстой дважды игнорировал Пушкинские торжества (1880 и 1899 года): пуританское юродство пучило графа посильнее колик. Впрочем, не исключено, что он солидаризировался с обиженным капитаном *Бороздой* пушкинской “раблезианы”. Но Фёдор Михайлович отработал свой “михайловский аванс” на все сто.

Вообще, по силе любви к Пушкину и глубине его понимания с Достоевским в XIX веке не сравнится никто.

В 1837 году происходит мистическая коронация нового духовного лидера нации: вскоре после смерти поэта у Фёдора Михайловича умирает мать, и отец привозит старших сыновей в Петербург для поступления в инженерное училище. «Мы дорогой, – вспоминает Достоевский, – сговаривались с братом, приехав в Петербург, тот час же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух»<sup>17</sup>.

Но ещё четыре года он выдерживается в ученическом статусе – Достоевский ещё не писатель, Достоевский – читатель, но зато какой! Весь золотой фонд мировой литературы, все сокровища духа поглощаются им с жадностью и ненасытностью “наследника по прямой”: «Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им... имя же Шиллера стало родным, каким-то волшебным звуком...»<sup>18</sup>; «Шекспир – это пророк, посланный Богом, чтобы возвестить нам тайну о человеке, душе человеческой»<sup>19</sup>; и о «Дон-Кихоте»: «Во всём мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, <...> и если б кончилась земля, и спросили бы там, где-нибудь, людей: “Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?” – то человек мог бы молча подать Дон-Кихота: “Вот моё заключение о жизни и – можете ли вы за него осудить меня?”»<sup>20</sup>

Не менее восторженно отзываясь он о Расине и Корнеле, Байроне и Гофмане, Диккенсе и Бальзаке.

---

<sup>17</sup> «Дневник писателя» за февраль 1876 г.: «Пушкин – это наше всё».

<sup>18</sup> Письмо брату от 1-1-1840 г.

<sup>19</sup> Записные тетради Ф. М. Достоевского. М.-Л., 1935; 179.

<sup>20</sup> ПСХП. М.-Л., 1929, т. XI; 235.

Между тем реально в это время Пушкина замещает Лермонтов; новой мистической вехой становится 1841 год – масонский юбилей *учителя*, совпадающий с двадцатилетием *ученика*. Уходит Лермонтов; Достоевский сдаёт офицерский экзамен, снимает комнату и начинает литературный труд. Первые публикации молодого автора (переводы – не в счёт) совпадают с трагическим закатом Гоголя, ретроградное поведение которого по отношению к гордому самостоянию Пушкина становится объектом безжалостного пародирования молодого пророка в «Селе Степанчикове». Вообще орденская патетика Достоевского резко отделяет его от старосветской рыхлости и малоросского малодушия Николая Васильевича. В конце концов, и шинель Акакия Акакиевича “вышла” из овчинного тулупа Самсона Вырина. Да и сам “дважды Акакий”, описанный Гоголем, не только “тварь дрожащая”, которой манипулирует Фома Опискин, но и относится к *простейшим* – инфузориям тувелькам, что и фиксировано фамилией «Башмачкин». Это, конечно, не пушкинский масштаб – просто *фалалей* какой-то насекомый, “выползок из гузна” и недоразумение. А Вырин – *это натурально! это живёт!*

Итак, через 4 года (8 – со времени смерти Пушкина) новый пророк стал провозглашать «любви и правды чистые ученья», и ближние покамест замерли с камнями – “опешили”, говоря шахматным языком, но быстро спохватились и на «Хозяйке», «Двойнике» и «Прохарчине» отыгрались с лихвой.

Но уже в это время могучий неофит вырабатывает концепцию *страдания* (от русского *страда́* – сбор урожая, требующий максимальной мобилизации и отдачи – с таинственным призывом итальянского *стра́да* – дорога, путь, магистраль) в аспекте эзотерического принципа: *Познание и любовь – одно, и страданье – мера их.*

И здесь он опирается на слово учителя:

Но не хочу, о други, умирать,  
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

Причём, если первое слово-концепт закреплено за Декартом, то второе целиком принадлежит Пушкину. Достоевский создаёт из

него целую креативную и нравственную философию, возводя в фундаментальное онтологическое понятие. Беспокойство, овладевшее Пушкиным в 1826 году, шло по нарастающей последующее десятилетие. Мотив затягивающейся на горле петли предсказания, тема побега имеют истоком Баньеновский «Путь пилигрима», с которым он был знаком по изданию 1819 года, которое было в его библиотеке. Поэтому первый вариант первой строки «Пророка»: «Великой скорбию томим», уступив место гениальной строке «Духовной жаждою», перекочевал в пушкинское переложение Баньена «Странник». И вот здесь происходит мистическая встреча Пушкина и Достоевского, вербализированная с полной провиденциальной ясностью. Воистину: *учитель, воспитай ученика, чтобы было, у кого учиться.*

Вглядимся:

### (IV)

1. Пошёл я вновь бродить, уныньем изнывая
2. И взоры вокруг себя со страхом обращая,
3. Как раб, замысливший отчаянный побег,
4. Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
5. Духовный труженик – влача свою веригу,
6. Я встретил юношу, читающего книгу.
7. Он тихо поднял взор – и спросил меня,
8. О чём, бродя один, так горько плачу я?
9. И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:
10. Я осуждён на смерть и позван в суд загробный –
11. И вот о чём крушусь: к суду я не готов,
12. И смерть меня страшит». «Коль жребий твой таков, –
13. Он возразил, – и ты так жалок в самом деле,
14. Чего ж ты ждёшь? зачем не убежишь отселе?»
15. И я: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?»
16. Тогда: «Не видишь ли, ответь, чего-нибудь» –
17. Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
18. Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,
19. Как от бельма врачом избавленный слепец.
20. «Я вижу некий свет», – сказал я наконец.
21. «Иди ж, – он продолжал; – держись сего ты света;
22. Пусть будет он тебе единственная мета.

23. Пока ты тесных врат спасенья не достиг,  
 24. Ступай! – И я бежать пустился в тот же миг.

Примечания:

3. Это, конечно, «Давно, усталый раб, замыслил я побег» из «Пора, мой друг, пора!» 1834 г.

5. *Духовный труженик* изнывает под тяжестью вериги *веры* – в отличие от *знания*, которое окрыляет.

6. У Баньена это Евангелист. Пушкин делает его просто «юношей с книгой». – Достоевскому всего 15 лет.

8. *О чём... плачу я?* – А вот о чём:

И с отвращением читая жизнь мою,  
 Я трепещу и проклиная,  
 И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,  
 Но строк печальных не смываю.

(«Воспоминания», 1828)

**9-12.** *Жребий злобный* предсказания оказался действен для Пушкина, ибо он сам придал ему такой статус: писал об этом в утвердительном смысле, несколько раз он нагло провоцировал и участвовал в дуэлях с “неблондинами” и даже бравировал неуязвимостью для иных обстоятельств. Программа окончания стихотворения «Пора, мой друг, пора» с идиллическим помещичьим бытием в деревне: «О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню – поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические – семья, любовь etc. – религия, смерть» оказалась чистой *маниловщиной* (в самом точном смысле слова), а друг – *дурой*.

**13-14.** То, что было *пора* в 1834 году стало ещё *порее* в 1835. 25 июня 1834 года Пушкин обращается через Бенкендорфа к царю с просьбой об отставке. Просьба поэта была воспринята самодержцем как «безумная неблагодарность», как «супротивление» царской воле, и он “скрипя сердцем” принуждён был взять её обратно.

А блондин по спирали приближался всё ближе и ближе.

1 июня 1835 года Пушкин обращается (всё через того же Бенкендорфа) с просьбой к монарху о разрешении уехать для поправления материальных дел на три-четыре года в деревню. Ему ответили, что подобное ходатайство равносильно просьбе об отставке,

и снова всё осталось по-прежнему. «Удрать», «улизнуть» из «загаженной», «пакостной» столицы, от света и двора, которые он энергично обзывает «нужником», «на чистый воздух», «восвояси», «плюнуть на Петербург... да удрать в Болдино, да зажечь баринном!» – не удалось. – «Они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать, как им угодно», – констатирует поэт, – «государь... заставляет меня жить в Петербурге». В «свинском Петербурге» поясняет он в другом месте. Остаётся только вздыхать:

Иные, лучшие мне дороги права;  
Иная, лучшая потребна мне свобода:  
Зависеть от царя, зависеть от народа –  
Не всё ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчёта не давать, себе лишь самому  
Служить и угождать; для власти, для ливреи  
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;  
По прихоти своей скитаться здесь и там...  
Вот счастье! вот права...

(«Из Пиндемонти», 1836)

**15.** Это легко узнаваемое «Плывёт. Куда ж нам плыть?..» «Осени», здесь особенно выразительное при привлечении для адекватного прочтения семантемы 15-го аркана Таро: *Solve* и *Coagula* написано на поднятой и опущенной руках Сатанаила; Пушкин фиксировал это в *первом* «подражании Корану»: «Клянусь четой и нечетой». «Выражение “чета и нечета” не следует понимать как “чёт и нечет”, речь идёт о сочетаемом и несочетаемом»<sup>21</sup>. Во французском переводе Корана, которым пользовался Пушкин, читаем: «par réunion et la séparation» (*объединением и разделением*), что в точности соответствует латинским терминам таротной картинки. Бифуркационная патетика 21-го аркана *Дурак* выражена здесь в русской ситуации «Витязь на распутье».

**16-17.** Речь идёт, безусловно, о «свете в конце тоннеля», но, желательно, при жизни, а не в момент перехода по ту сторону бытия. Далее следует одно из великих пушкинских чудес:

---

<sup>21</sup> Томашевский Б. В. Пушкин. М-Л., 1961, кн. 2; 21.

«Сказал мне юноша, даль указуя перстом», т. е. *Д-о-сто-е-ск!* Это уже почти угаданная фамилия преемника. Но бросается нехватка ударного *в* (в аспекте *абсолютной орфоэпии*) и окончания... (Ред. 16 мая. – ОК)

**18-19.** Духовное и физическое прозрение многократно обыгрывалось Пушкиным в самых концептуальных его сочинениях. Так, *третье* «подражание Корану», написанное по канве суры «Слепой» начинается стихами:

Смутясь, нахмурился пророк,  
Слепца прослышав приближенье:  
Бежит, да не дерзнёт порок  
Ему являть недоуменье.

Здесь, конечно, и *вещие зеницы* «Пророка» и *пробудившийся орёл* «Поэта». «Бельмо» же сродни “страдавшему члену” Сальери, избавление от которого приносит ему “чувство глубокого удовлетворения”. У Баньена этих строк нет.

**20.** Вот оно! – Аркан *Воскресение из мёртвых!* А теперь – окончание пушкинского чуда:

«*Я вижу некий свет*», – сказал я наконец». – Сразу два ударных (и семантически и орфоэпически) *в* плюс окончание – *ский*, до конца («наконец!») вырисовывающее фамилию юного пророка. Кроме того – *жив* как палиндром *вижу* доводит картину до совершенства.

**21.** Посыл «Иди» напоминает финальное четверостишие «Пророка России», а *направление на свет* чётко указывает на духовное избранничество героя, принадлежность его к штучному человечеству в отличие от человека массового, роящегося, фиксированного блоковским «нас тьмы, и тьмы, и тьмы...»

**22.** «Мета» – это целая *тема* духовной культуры, а *направление на свет* – это и есть *культ ура* (культ света), хотя пушкинское «держись» и – особенно – *единственная* чётко связывают движение героя с разумом самосознания, а не с инстинктом повиновения хозяину “псов господних”.

**23.** «Тесные врата спасения» – это отнюдь не Триумфальная арка для прохождения под ней миллионов в аспекте деятельности так называемых мировых религий.



24. «Ступай!» – это говорит возмужавший ученик Учителю, пророк – артисту, чернорабочий духа – аристократу уха, юноша – усталому средовеку. Но русское *ступай* это: совершай *поступки*, а не одни “слова, слова, слова” – хотя бы и «из Пиндемонти».

В этой последней строке особенно видно *кто есть кто*, особенно ощутимо обратное воздействие Достоевского на Пушкина. Правда, для этого потребовалось посредство Баньена. Но Пушкин повышает орденское звучание оригинала; он отбрасывает обильные ссылки оригинала на тексты «Священного писания», ликвидирует условное имя героя Христиан(-ин), заменяет Евангелиста на просто юношу и само заглавное слово «пилигрим» (человек, идущий на поклонение святым местам) заменяет более отстранённым «странник».

После этих гностических препаратов бег подопечного приобретает должное ускорение, благо, что он получил подобающий тренинг:

Бежит он, дикий и суровый,  
И звуков и смятенья полн,  
На берега пустынных волн,  
В широкошумные дуборovy...

(«Поэт», 1827)

Впрочем, как всегда всё у Пушкина кончается спорадической вспышкой, – на большее терпения не хватает:

Напрасно я бегу к сионским высотам,  
Грех алчный гонится за мною по пятам...  
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,  
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

(«Напрасно я бегу...», 1836)

Возникает резонный вопрос: заметил ли Достоевский этот великий месседж и отреагировал ли на него?

– Заметил. И отреагировал.

«Вспомните с т р а н н ы е стихи:

*Однажды странствуя среди долины дикой...*

Это почти буквальное переложение первых трёх страниц из с т р а н н о й *мистической* книги, написанной в прозе, одного древнего английского религиозного сектатора, – но разве это только переложение? В густой и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ересиарха, безбрежного *мистика*, с его тупым, мрачным и непреодолимым стремлением и со всем безудержем *мистического* мечтания. Читая эти с т р а н н ы е стихи, вам как бы слышится дух веков реформации, вам становится понятен этот воинственный огонь начинающегося протестантизма, понятна становится, наконец, сама история, и не мыслью только, а как будто вы сами там были, прошли мимо вооружённого стана сектантов, пели с ними их гимны, плакали вместе с ними в их *мистических* восторгах и веровали вместе с ними в то, во что́ они поверили. Кстати: вот рядом с этим религиозным *мистицизмом* религиозные же строфы из Корана или «Подражания Корану»: разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная кровавая сила её?»

Это из «Пушкинской речи» 1880 года. Как видим, пятикратное педалирование производных слова *мистика*, данных настолько кучно, что они выглядят опознавательными кострами для приземления ночного десанта; произнесение с горделивым нажимом терминов *сектатор*, *ересиарх*, *протестантизм*, *реформация*, ясно указывающее на то, что это пароли в переключке братьев – как выяснилось – переключке через века, – всё говорит о лирическом переживании происходящего, что прямо и заявлено: «как будто *вы сами там были*». И это всего лишь отклик на инициативу Учителя – Пушкин, было, начал повествование о страннике в третьем лице:

В великом городе жил некий человек,  
 В беспечной суете проведший целый век.  
 Однажды странствуя среди долины дикой,  
 Незапно был объят он скорбию великой...

– и так далее, – целых шестнадцать стихов. Но потом понял, что *исповедальное* должно иметь *испове-ближнее* выражение. Так

что Достоевский лишь послушно последовал за наставником. Может показаться странным слово «тупым», но только до тех пор, пока в нём палиндромно не засветится *путь* – Дао, который мгновенно всё ставит на свои места. Мало того, Фёдор Михайлович для вящей ясности сразу же переходит к «Подражаниям Корану», чтобы ставшая общеизвестной «тварь дрожащая» подсказала истину самым непонятливым (ненароком окоранен).

Благородный и благодарный ученик возвращает любимому Учителю его утраченный было («напрасно я бегу...») пророческий статус: «Тут он угадчик, тут он *пророк*», – убеждает Достоевский, прикрывая свой светлый лик тёмной парсуной «народа-богоносца». И снова: «Пушкин <...> явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и *пророческое*, ибо... ибо, тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своём развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась *пророчески*».

Это благодатное эхо указывает только, что Пушкин угадал с адресатом *сто*процентно (До-сто). *Отзыв поэту*<sup>22</sup> нашёлся, да ещё какой!

Всю жизнь Достоевский осмысливал и фиксировал письменно результаты исследования «этого *неизвестнейшего* из всех русских людей, – так, я думаю, можно определить нашего великого Пушкина, про которого у нас тысячи и десятки тысяч из нашей интеллигенции до сих пор не знают, что это был *таких* великих размеров поэт и русский человек...» («Дневник писателя», февраль 1877 г.)

В 1861 году, в котором кончилось «рабство, падшее по манию царя», – как раз к юбилею масонского посвящения Учителя и сорокалетию закончившего своё семипалатинское посвящение ученика – Достоевский, вновь вернувшийся к прерванному литературному труду, писал: «Колоссальное значение Пушкина уясняется нам всё более и более». – С кровью, страданием, *болью*. – «Явление Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизации уже дозрело до плодов и что плоды его не гнилые, а великолепные, золотые плоды». – Ну конечно, – «*Белкин*» песенки поёт, Да орешки всё грызёт; А орешки не простые, Все скорлупки золотые, Ядра – чис-

---

<sup>22</sup> «Тебе нет отзыва... Таков И ты, поэт!» («Эхо», 1831)

тый изумруд». А дерево *цифуризации* – это, безусловно, Кабалистическое дерево, увешенное золотыми плодами – сефирами (сферами, цифрами). Именно это манифестирует русская новогодняя ёлка, украшенная огромными блестящими шарами – что и запечатлел Достоевский в эзотерическом подтексте рассказа «Мальчик у Христа на ёлке».

В концептуальной статье «Пушкин – это наше всё», написанной к 55-летию приобщения русского гения к орденской структуре, *Пророк* так воздаёт своему создателю: «У нас всё ведь от Пушкина. Поворот его к народу в столь раннюю пору его деятельности до того был беспримечен и удивителен, представлял для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь если не чудом, то необычайною великостью гения, которого мы, прибавлю к слову, до сих пор ещё оценить не в силах». («Дневник писателя», февраль 1876 г.)

И ровно через год: «О Пушкине ещё много и долго у нас говорить надо». («Дневник писателя», февраль 1877 г.) Это – к сорокалетию смерти (13-й аркан). И не дождавшись ничего вразумительного, сам продолжил через полгода, имея ввиду представителей русской “натуральной школы” – своих сотоварищей: «Вся плеяда эта... вышла прямо из Пушкина, одного из величайших русских людей, но далеко ещё не понятого и не растолкованного. <...> С него только начался у нас настоящий сознательный поворот к народу, немыслимый ещё до него с самой реформы Петра. Вся теперешняя *плеяда* наша работала лишь по его указаниям, *нового* после Пушкина ничего не сказала. Все зачатки её были в нём, указаны им. Да к тому же она разработала лишь самую малую часть им указанного. Но зато то, что они сделали, разработано ими с таким богатством сил, с такою г л у б и н о ю и отчётливостью, что Пушкин, конечно, признал бы их». («Дневник писателя» июль-август 1877 г.) Это уже творческий отчёт пред Мастером, хотя и скрытый в “мысле” множественного числа.

А вот прямая саморефлексия: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т.е. изображаю г л у б и н ы души человеческой».

«Неправда!» – почти как у Сальери из уст, – «...это сказка тупой бессмысленной толпы...» Здесь всё дело в слове г л у б и н а , ибо она суть параметр Духа Святого, без которого ни о каком «реа-

лизме в высшем смысле» говорить не приходится. Толпа же – пожиратель желудей “реализма в низшем смысле” – пушкинской «тьмы низких истин», даже если Дуб, около которого она кормится, стоит у Лукоморья.

Как же Достоевский достиг подобных высот?

«Везде-то и во всём я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил». (Из письма 1867 г.) Это признание явно *запредельника*, «юноши с книгой», хотя по виду – арестантская роба, кандалы – доходяги баньеновского.

Но *только он* смог поднять груз самой великой задачи. «Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение *положительно* прекрасного – всегда пасовал. Потому что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной Европы ещё далеко не выработался. На свете есть одно только *положительно* прекрасно лицо – Христос...» (Из письма 1868 г.).

Хотя Достоевский и выделяет слово *положительно* курсивом, как бы сигнализируя опознавательным знаком, однако эзотерический смысл его языкового и гностического хозяйства оказался трансцендентным для понимания большинства его современников. Да и само слово казалось обычным элементом публицистического репертуара, и вдуматься в него не приходило в голову. А ведь Достоевский намекал на корень *лож*, внутри которой хранится главное орденское сокровище – эзотерическая христология. Достаточно вспомнить о «Христософии» Якова Бёме, чтобы понять, о чём идёт речь. Да и первое издание «Пути пилигрима» Джона Баньена было осуществлено масоном Н. И. Новиковым в 1782 году. Вот почему Достоевский опять повторяет свой пароль, приоткрывая рыцарский коридор в сердцевину своего гениального «Идиота» – образ «князя Христа». «Тот же Дон-Кихот, но только серьёзный, а не комический» – концептуально характеризует он его в черновиках устами одной из героинь. – Но откуда он взялся в русской литературе, этот высокий дух, этот *рыцарь без страха и упрёка*?

Ба! – Да ведь это пушкинский «Рыцарь бедный»!

Достоевский настолько припаялся к этому стихотворению, что полностью ввёл его в текст романа с развёрнутыми экзегетическими пояснениями. «В стихах этих, – поясняет Аглая, – прямо изображён человек, способный иметь идеал, во-вторых, раз поста-

вив себе идеал, поверить ему, а поверив, слепо отдать ему свою жизнь... Там, в стихах этих, не сказано, в чём, собственно, состоял идеал “рыцаря бедного”, но видно, что это был какой-то светлый образ чистой красоты».

Жил на свете рыцарь бедный,  
Молчаливый и простой  
С виду сумрачный и бледный,  
Духом смелый и прямой.

Он имел одно виденье,  
Непостижное уму,  
И глубоко впечатленье  
В сердце врезалось ему.

Путешествуя в Женеву,  
На дорогах у креста  
Видел он Марию деву  
Матерь господа Христа.

С той поры, сгорев душою,  
Он на женщин не смотрел,  
И до гроба ни с одною  
Молвить слова не хотел.

С той поры стальной решётки  
Он с лица не подымал  
И себе на шею чётки  
Вместо шарфа привязал.

Несть мольбы Отцу, ни Сыну,  
Ни Святому Духу век  
Не случилось паладину,  
Странный был он человек,

Проводил он целы ночи  
Перед ликом Пресвятой,  
Устремив к ней скорбны очи,  
Тихо слёзы лья рекой.

Полон верой и любовью,  
Верен набожной мечте,  
Ave, Mater Dei кровью  
Написал он на щите.

Между тем как паладины  
В встречу трепетным врагам  
По равнинам Палестины  
Мчались, именуя дам,

Lumen coelum, sancta Rosa!  
Воскликнул в восторге он,  
И гнала его угроза  
Мусульман со всех сторон.

Возвратясь в свой замок дальний,  
Жил он строго заключён,  
Всё безмолвный, всё печальный,  
Без причастья умер он.

Между тем как он кончался,  
Дух лукавый подоспел,  
Душу рыцаря собирался  
Бес тащить уж в свой предел:

Он-де Богу не молился,  
Он не ведал-де поста,  
Не путём-де волочился  
Он за матушкой Христа.

Но Пречистая, конечно,  
Заступилась за него  
И впустила в царство вечно  
Паладина своего.

(1829)

В романе этот романс приводится в сокращённой редакции, в которой он был включён автором в «Сцены из рыцарских времён»,

где его танцевально-маршевый ритм убаюкал внимание цензора. Между тем, полный текст так и не удалось напечатать, несмотря на то, что Пушкин максимально сгладил сомнительные места.

Возникает вопрос: неужели средневековый анекдот, превращённый Пушкиным в одну из романтических баллад, мог так поразить воображение “человека культуры”, для которого реалии *рыцарского* никогда не были в диковинку (достаточно сказать, что он в юности прочёл *всего* Вальтера Скотта)? Ведь всё положительное в этой истории относится к миру обычных рыцарских добродетелей, тогда как всё остальное – грубоватая игра двусмысленностями на неустойчивом пограничье *агапе* и *эроса*, вольтерьянский “подсек’т” в возвышенном понятии *l’amour sacré* – почти «Гавриида». Правда, католицизм допускает сублимативное перенесение физиологической чувственности на священные персонажи; объектом эротического поклонения и магического притяжения сердца и плоти иногда становились произведения живописи и скульптуры, часто третьесортные по линии искусства, но зато изготавливаемые специально с таким заданием. Красивость, а отнюдь не красота, является предметом массового потребления, и ремесленники, тщательно выписывая губки, реснички, румянцы и проборы умышленно метят “ниже пояса” доверчивому потребителю. Одно из таких изображений и видел «путешествуя в Женеву» рыцарь *бедный* (зámок у него, правда, есть, но и тот – *дальний*). Тут возникает вопрос: «бедный» – это *малосостоятельный*, или *бедняга* – априорное резюме по поводу всей его *горестной* (как всем кажется) жизни?

Пушкин и не собирается прояснять эти двусмысленности. Под расхлябанную мелодию «Подъезжая под Ижоры» несётся вскачь по недосказанностям, многозначительным намёкам, “фигурам умолчания” и приоткрытостям всё тот же *странный человек*, «афей» и орфей ригоризма. Почему же вдруг остановился «поражённый божьим чудом» Достоевский и радостно стал подключать “провода” своего мягкого импотента князя Мышкина к этой фигуре норовистого эротомана? Да потому что не Чичиковым любитесь *созерцатель*, а «птицей-тройкой», не решёткой на лице и чётками на шее, а э н е р г и е й л ю б в и . И – воистину – и то и другое есть “молния с неба”, и именно она прочерчивает структуру Кабалистического древа.



Но есть ли *основание* (так сказать *Иезод*) для такого гностического переключения?..

Есть.

Lumen coelum, sancta Rosa: несмотря на все эротические подмиги эта самая R o s a ( ! ) слишком мощно манифестирована, чтобы не обратить на себя внимания *знающего* (“брата”). Поняв намёк, глаз начинает судорожно искать вторую половину слова... – Вот она: «На дороге у *креста*». Итак, пароль восстановлен: R. C. – R o z e n k r e i c e r . Причём *крест у дороги* исполнял в христианские времена функцию *герма*, ставившегося на путевых развилках в “языческие” времена, фиксируя бифуркационную точку (*развилку*) 21-го аркана *Дурак*. – Вот почему *Идиот* Достоевского!

Но и это ещё не всё.

Пушкин упорно писал слово *крест* через (ять)<sup>23</sup>. С точки зрения грамматики это была грубая ошибка, и друзья всегда её выправляли, подготавливая рукопись к печати. Но Пушкин отнюдь не “бельведерский Митрофан”, чтобы допускать подобный ляпсус. Это был *знак*, *графема*, *иероглиф*, во-первых, *креста* (верхняя часть буквы в её прямом положении), а, во-вторых, *египетского креста*, вернее: *ключа жизни а н х а* (вся буква в перевёрнутом виде). Вот почему *повешенный вверх ногами* – Шут, *Дурак*, Сумасшедший, Идиот.

И всё-таки – что общего между героем Достоевского и персонажем пушкинского литературного заповедника? Мы помним, что, захотев написать «положительно прекрасное лицо» и даже пометив в плане «Маленьких трагедий» этот замысел словом «Иисус», Пушкин ограничился, полностью высказавшись на эту тему, созданием своего «Моцарта и Сальери» с резюмирующим «Ты, Моцарт – бог», полностью соответствующим требованию Достоевского. *Положительность* как производное от слова *ложь* в этом случае была представлена в максимальной полноте и ясности. Моцарт и Бомарше как правильные масоны и Сальери как неправильный, плохой масон или, вернее, псевдомасон, были вычерчены, вылеплены в «маленькой трагедии» рукой духовного мастера, арбитра и судии.

---

<sup>23</sup> См. Пушкин: Исследования и материалы. XIV, Л., 1991; 275.

И Достоевский настроил всего себя на волну *Моцарта*. Именно это помогло ему принять второй пушкинский позывной «Рыцаря бедного».

При публикации самым криминальным в стихотворении оказалась латинская надпись на щите Ave, Mater Dei, которую Пушкин даже сократил («Сократ» хренов!) до аббревиатуры A. M. D., рассчитывая, что в этом виде формула проскочит. Увы, ни первый, ни второй вариант текста так и не увидел света при жизни автора. И помимо ёрнического тринадцатого (!) куплета – речи Беса – и разоблачительного третьего с прямым указанием предмета вожделения героя баллады, вот это самое A. M. D. было ещё одним препятствием. Но Пушкин держался за аббревиатуру насмерть. – Почему?

Вглядимся ещё раз.

Ave, Mater Dei...

Позвольте... – да ведь это A(ve) MA(ter) DEI – имя Моцарта! *Любящий Бога!* (греч. *Теофил*)

Значит, Рыцарь Бедный (напишем уважительно) отвергал только церковную обрядность, жирную человеческую толщу “святых отцов” (в этом случае не “культурный слой”, а “культовый”), который застил сакральный объект и мешал прямому с ним мистическому (“непостижимому уму”) взаимодействию. И вдруг становится ясно, что *сыновнего* здесь не меньше, чем *кавалерского*. Что «духом смелый и прямой» скорее всего бог Гор, на что Пушкин прямо указывает в десятом (егип. *деканном*) куплете:

Lumen coelum, sancta *Rosa!*  
Восклицал в *восторге он*,  
И знала *его угроза*  
Мусульман со всех *сторон*.

Ему вторит слово «*стро́го*» одиннадцатого четверостишия, посяняя некоторую смысловую неуклюжесть последних двух строк предыдущего.

Зато слово «паладин» в аспекте семантической развёртки “пал один” истолковано целокупным текстом до глубин. И дилемма: “любимчик” (13-я строфа) и “любимец” – как ответ на *соответст-*

## ЧАСТЬ I. ЭНИГМА АСП И Д.А

---

вие имени (А-МА-ДЕИ) не прихотью, а по справедливости решается в пользу второго (14-я строфа).

И ещё: в этом стихотворении встречаются и взаимодействуют все три основных понятия человеческой “феноменологии”: *герой*, *святой* и *гений*.

«Молчаливый как *святой*» – определял Пушкин своего героя в раннем варианте текста.

И на поле брани и в других обстоятельствах жизни «рыцарь бедный» ведёт себя воистину как *герой*.

И, наконец, как Amadei он, конечно, *гений*.

Только соединение всех трёх качеств образует ту высоту *пророческого*, которой последовательно стремился соответствовать Достоевский всю свою жизнь. Эти же качества он высматривал пристрастным оком и в фигуре Учителя.

В речи, произнесённой 8 июня 1880 года в связи с открытием в Москве Опекушинского памятника, он сразу же четырежды проговаривает концептуальное слово:

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и *пророческое*. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно *пророческое*. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению тёмной дороги нашей новым направляющим светом<sup>24</sup>. В этом-то смысле Пушкин есть *пророчество* и указание. ...Касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о *пророческом* для нас значении его, и что я в этом слове разумею».

Затем Достоевский подробно разбирает три периода творчества Пушкина, включая и приводившийся выше анализ «Странника» и под конец заключает:

«...Он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и *пророческое*, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, ...и выразилась *пророчески*. <...> Став вполне народным поэтом, Пушкин тот час же, как только прикоснулся к

---

<sup>24</sup> Это, безусловно, Баньеновский образ.

силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он *пророк*».

И финал:

«Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унёс с собою в гроб *некоторую великую тайну*. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

«Мы»... – В то время – практически *он один*.

Но бн – до *многого* докопался.

И вот результат.

*Семь раз* настойчиво, почти маниакально повторяет Достоевский слово *пророк* (и его производные). Седьмой аркан Тарота – *Колесница*. – И сразу вспоминается светлый бог Аполлон в квадриге на фронте Большого театра. А вслед за ним приходит и разгадка “обратного меседжа” Достоевского:

Пока не требует поэта  
К священной жертве Аполлон,  
В заботы суетного света  
Он малодушно погружён;  
Молчит его святая лира;  
Душа вкушает хладный сон,  
И меж детей ничтожных мира,  
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол  
До слуха чуткого коснётся,  
Душа поэта встрепенётся  
Как пробудившийся орёл.  
Тоскует он в забавах мира,  
Людской чуждается молвы,  
К ногам народного кумира  
Не клонит гордой головы...

Он, *Пророк* – только “орлица”, а “орёл” – Учитель, Мастер, Отец, Господин. – *Брат*.

И что из того, что он пробуждался лишь иногда, спорадически, “время от времени”.

Однажды в такой солнечный миг он даровал жизнь *ему*, запустил в мир *его*, Пророка.

## ЧАСТЬ I. ЭНИГМА АСП И Д.'А

---

---

Как известно из многочисленных воспоминаний современников, Достоевский очень охотно читал вслух наиболее дорогие ему пушкинские творения, и, по единодушным отзывам, его чтение всегда отличалось необыкновенным мастерством, силой и глубиной проникновения. Однако самое потрясающее впечатление производило чтение им «Пророка». «У Пушкина это почти н а д - з е м н о е », – говаривал он.

При чтении им особенно выделялись слова:

И **вырвал** грешный мой язык...

И **уголь**, пылающий огнём...

Глаголом **жги** сердца людей.<sup>25</sup>

На другой день после своей речи на тех же пушкинских торжествах он прочёл его дважды «с такой напряжённой восторженностью, что жутко было слушать»<sup>26</sup>.

*Ещё бы, – говорим мы из своего сегодняшнего далека, – только современники и соотечественники могли не заметить исповедальности и автопортретности в звучащих словах. Ибо верно сказано: нет пророка в своём отечестве.*

*И в своём времени, – добавим мы.*

---

<sup>25</sup> Фиксация А. Г. Достоевской.

<sup>26</sup> Страхов Н. Н. Заметки о Пушкине. Изд. 2-е, К., 1897; 119.